

ДВЕ ШИНЕЛИ ИЛИ АНЕКДОТ С БОРОДОЙ
(русская культура и субкультуры конца
1980-х -- начала 1990-х годов)¹

Григорий Фрейдин
Стэнфордский университет, США
(Знамя 9, 1992)

Да аще еси муж и не хочеша жена быти почто
брады твояе или ланит твоих власы щиплещи и ис
корене исторзати не срамляешися?

Из поучения молодым людям
Метрополита Московского Даниила (XVI в.)

Как существо, давно уже в России не обитающее, признаюсь, что мне трудно конкретно разобраться в отношении, которое сложилось за последние годы между "русской культурой" и "субкультурами", -- если я правильно понимаю тему конференции -- между большим стилем центра и стилями по отношению к нему периферийными. Ведь те отголоски "субкультур" России, такие, как, скажем, культуры фанатов, люберов, "булгаковцев", доходят до Америки в уже сильно отфильтрованном виде -- через газету, журнал, кино, редко научный доклад.

Однако, вопрос сам по себе интересен именно тем, что культура государства российского -- будучи явлением неоднозначным и неоднородным -- постоянно напрашивается на классификацию (напр., на госиздат, тамиздат и самиздат, народную, массовую, городскую, сельскую, столичную, питерскую, провинциальную, андерграунд, утонченную, русофобскую, кондовую, русскоязычную, русскую, интеллигентскую, западническую, масонскую, не говоря уже о сионистской, неформальной и славянофильской). Поэтому, предложение рассмотреть ее последний еще не затвердевший срез сквозь призму не то манихейского, не то бахтинского сознания, рассекающую ее на "русскую культуру", т.е., верх, и "суб-культуру", низ, прозвучало для меня соблазнительно. Повяло молодостью, целомудрием, казалось бы, навсегда ушедшей в прошлое простотой.

Это ничего, сказал я себе, что понятие русской культуры в названии конференции заранее огораживается забором с табличкой "вход субкультурам воспрещен". Вот будет теперь возможность проверить, привычный для меня смысл слов "русская культура", который я понимаю как сумму всего накопленного русской цивилизацией символического материала -- до так называемых субкультур

¹Настоящий доклад подготовлен для обсуждения на Третьей встрече Международной рабочей группы по изучению (пост-) советской русской культуры (Москва, 15-20 июня 1992 г.). Впоследствии статья опубликована в журнале *Знамя*, #2 (1993).

включительно. В общем, потянуло посмотреть, выдержит ли проверку такое понимание.²

Для серьезного наблюдателя, конечно, такие теоретические абстракции, как "русская", "культура" и "субкультура", тем и хороши, что позволяют рассмотреть и, худо-бедно, разобрать конкретную жизнь, а мои-то отношения с конкретной жизнью в России последних двадцати с лишним лет больше, чем на эпизодические не тянут. Поэтому не обессудьте, что ссылаясь я здесь буду, в основном, на художественную литературу, отчасти на кино, т.е., на явления, требующие от их создателей и общества больших затрат духовного и материального порядка, а также и высокого уровня координации, о чем субкультуры только могут мечтать. Что же касается конкретного материала, без которого все же не обойтись, то он принадлежит уже отошедшей в прошлое эпохе конца 50-х - начала 70-х годов. Там я был, мед-пиво пил и начну анализ с бесспорно субкультурного явления, которое, как сказал бы Хайдеггер, находится под рукой, а именно, с собственной бороды. Конечно же, лишь в порядке иллюстрации нехитрых моих теоретических положений и исторических выкладок.

1. О БОРОДЕ КАК ФАКТЕ (СУБ)КУЛЬТУРЫ

²Существует два типа понятия культуры: (1) культура есть эстетическое выражение души народа и (2) культура включает в себя все выражающие ценности элементы коммуникации в данном обществе. Первое понятие -- главный принцип национализма, основанного на постулируемых культурных особенностях народа, который воспринимается как единое целое, а культура -- как произведение искусства. Для такого понятия характерна либо слабая государственность (Германия Гердера), либо государственность, находящаяся в противоречии с обществом (Россия при Николае I -- Россия Герцена). Единство культуры в таком понимании симметрично либо мечте об идеальном народном государстве (Германия Гердера), либо действительно кошмару единой всеильной государственной власти (Россия Герцена). В советское время, разумеется, мечта соединялась с кошмаром. Второй тип понятия культуры свойственен народам с хорошо развитой государственностью, которая, однако, не воспринимается как подавляющая общество сила (Англия, Америка, Франция, хотя последняя особый случай). Таким народам свойственен плюрализм государственных и общественных институтов. Поэтому здесь более уместно описательное, а не идеальное понятие культуры -- здесь многообразие не воспринимается как раздробленность, и обществу нет нужды обороняться культурой от постоянных набегов грозной власти. Заманчиво определение культуры Леви-Страуса (*СТРУКТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ*): что не природа, то есть культура. Об искусстве как неотъемлемой части культуры, понимаемой как "взятый в целом образ жизни народа" (Т.С. Эллиот) хорошо пишет американский антрополог Клиффорд Герц ("Art as a Cultural System," in Clifford Geertz, *LOCAL KNOWLEDGE*). О субкультуре как феномене культуры см. замечательную книгу: Dick Hebdige, *SUBCULTURE: THE MEANING OF STYLE* (Methuen: London, New York, 1983). См. также очень важную работу Greil Marcus'a, где современная западная субкультура смыкается с Дадаизмом (*LIPSTICK TRACES: A SECRET HISTORY OF THE TWENTIETH CENTURY* [Harvard University Press: Cambridge, Mass., 1989]). О современных субкультурах в рамках теории пост-модернизма см. Frederic Jameson, "Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism," *THE NEW LEFT REVIEW* 146 (July-August 1984).

С одной стороны, борода моя есть часть природы, а с другой, она -- знак. Когда я его растил в конце шестидесятых, подгоняя нежный еще волос пощипыванием подбородка, знак этот в глазах властей, да и вообще всего честного народа, очень легко складывался в фигу. Правда, фигу эта не была той внушительной, безапелляционной, аллегорической фигурой на манер сочного кукиша, который красноармеец с плаката времен гражданской войны подставлял пузатой антанте под ее неславянский нос. За такую, недвусмысленную фигу, адресованную социалистическому отечеству, в дни моей молодости давали по 190-ой статье до трех лет, а по 70-ой -- можно было схлопотать и до семи. Я же -- хоть и болтал, и подписывал, и нелегально передавал, и даже выходил к известным памятникам -- в большую драку ввязываться побаивался и уж, тем более, садиться не собирался. Однако, в отличие от Бабелевского интеллигента, я мою фигу целиком не прятал. Наполовину, по крайней мере, она у меня высывалась из кармана.

Вообще после смерти Сталина много было такого, что вылезало, выглядывало и, на худой конец, нескромно торчало, -- не выходя, однако, за рамки общепринятого в стране регламента жизни.

Со смертью великого корифея -- т.е., руководителя хора -- советской цивилизации,³ общество принялось постепенно освобождать себя от манихейского деления на "наше-ненаше," деполитизироваться, становясь все более просвещенным и сложным, и при всем этом оставаясь советским. Шло два противоположных процесса, и противоречие между ними -- между советским и аполитичным, между сталинской простотой и новомодной усложненностью -- создавало как бы два регистра общественного восприятия необычного поведения. Один покрывал собой все, что должно было интересовать следственные органы (фигу большая), а второй -- то, что вызывало неприязнь, но преследованию по закону уже не подлежало (фигу маленькая).

В этом втором регистре и проходил процесс формирования субкультуры, в сущности, переименования элементов общепринятого символического языка, причастного лишь к быту, в эстетический объект. Такая эстетизация само собой разумеющегося создавала эффект остранения, который расшатывал систему зафиксированных советской властью ценностей и делал возможным их переоценку. И все это происходило по большей части без вмешательства УК РСФСР и союзных республик, ибо политических основ не затрагивало. Подтверждающее правило исключение -- история суда над Бродским за тунеядство (слово чуть ли не из "Домостроя"). Да и исключение ли -- если принять во внимание сравнительную по тем временам легкость приговора и скорое помилование. Даже вывод Пастернака из Союза писателей, опередивший на несколько лет суд над Бродским, не исключал

³О "хоровом начале" культуры см. у Вяч. Иванова, "Эллинская религия страдающего бога," *НОВЫЙ ПУТЬ*, 1-3, 5, 8-9 (1904 г.). О советской цивилизации см. А. Синявский, *SOVIET CIVILIZATION*.

Пастернака из общества. А при Сталине это бы непременно произошло, и постигла бы Пастернака, и это в лучшем случае, участь Ахматовой. Однако, характер власти после смерти Сталина -- и теперь это очевидно -- коренным образом изменился. Шло постепенное, иногда едва заметное отделение общества -- и соответственно культуры и быта -- от государства. В эти годы русская советская культура не только переживала период реформации, но, если перефразировать восторженную формулировку Мандельштама времен гражданской войны, постепенно переставала быть церковью.⁴ Расширялся диапазон спорных, но еще горячих вопросов -- идеальная питательная среда для субкультуры.

2. ВТОРИЧНЫЕ ПОЛОВЫЕ ПРИЗНАКИ КАК ВТОРИЧНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

Первыми из элементов быта во время оттепели, если только не вру, в такой эстетический объект перевоплотились волосы и брюки. Волосы -- понятно, так как язык волос -- один из самых важных языков культуры, но брюки? Брюки, думаю, -- это было случайное совпадение, хотя как вторичный (по Лотману) половой признак они с волосами складывались в довольно пикантный дуэт. Характерные скорее для женщины длинные волосы -- бац по основам смыслообразования -- заставляли наблюдателя задуматься о различии между полами, а взгляд на узкие брюки -- бац по принципам послевоенного мужского гардероба -- мгновенно сужал поле таких размышлений, сводя их, естественно, к одному.

Вторичный половой признак таким образом удваивался и выглядел внушительно.

Он торчал.

И, как утверждают старшие современники, его, этот признак, т.е., брюки, резали прямо на улице -- от коленки вниз -- не желавшие переоценки ценностей комсомольские отряды.

Как бороды при Петре.

Смахивает, скажете, на люберов и хиппи. Это так. Однако, различие здесь важнее сходства: комсомол пятидесятых годов субкультурой уж никак не назовешь, как и вряд ли найдутся охотники принимать люберство за магистральное

⁴"Культура стала церковью. Теперь каждый образованный человек -- христианин..." О. Мандельштам, "Слово и культура".

направление "русской культуры". Комсомол был частью государства. Люберы -- нет. Вычитаем из комсомола "люберство" -- остается государство.

Но что же говорила людям вторичная моделирующая система длинных волос?

Одним она говорила: "Не ваше сабачье дело -- баба я или мужик". Другие читали в ней, пользуясь кодом православного духовенства, отрешенность от мира -- от советского мира, включавшего в себя и церковь и государство. Но, спрашивалось, отрешенность отрешенностью, но ради какого такого другого мира вы, молодой человек, отрешаетесь? Ответ был один: "Для мира наших врагов, вестимо". Пахло жареным.

А узкие брюки, в свою очередь, наводили на мысль, хотя бы и не совсем осознанную, что созданы они, брюки, не только для того, чтоб их носить. Но если не для того, чтобы носить, то, спрашивается, для чего же они созданы? Ответ: разумеется, для разврата.

Помните? "Он брюки узкие носил, читал Хэмингуэя." Думаю, что и волосы у него были длинные, хотя нашего поэта на эту деталь, очевидно, не хватило. Воображаю, что он, этот собирательный читатель Хэмингуэя, в элегантно обтекающих его сильные ноги брюках, мог пройтись в буги-вуги и даже твист, косил на абстракционизм (спасибо американцам и французам за их выставки, а Хрущеву за то, что не запретил), и о джинсах мечтал, и заигрывал с идеей отростить бороду, слышал о Цветаевой, и даже больше, чем слышал, -- читал. Но любил -- по-настоящему любил -- Слуцкого и Вознесенского, особенно из ненапечатанного... За весь этот стиль -- помните такое слово -- стилиаги? -- за весь этот стиль жизни, за ее стильность, молодые художники жизни, как правило, отделялись различными формами легкого испуга. Нашептывали нехитрую советскую мантру:

ВТОРОЙ РЕГИСТР -- БЕЗ КРИМИНАЛА.

ЗА НЕГО НЕ САЖАЮТ.

РАЗВЕ ЧТО ИЗ УНИВЕРСИТЕТА МОГУТ ОТЧИСЛИТЬ.

А ПОТОМ ВОССТАНОВЯТ.

Так хотелось думать. Но конечно же, границы между недозволенным и терпимым были текучи, динамичны и взаимозависимы. Поле их действия то расширялось то сужалось. Одно за счет другого.

БЫЛО ОПАСЛИВО.

НО СТРАХ БОДРИЛ.

Когда в 1966 г. был обыск у Александра (в те времена, Алика) Гинзбурга, то знатоки сразу отметили перемены: вот раньше у него Гебисты даже картины со стен снимали, а теперь и Живаго с полки не берут: одним "Посевом" интересуются. Тот, кому это говорилось мотал себе на ус, с радостью встречая весть о том, что поле, на котором можно безобидно порезвиться, расширилось за счет заграничного издания такого опасного еще недавно романа.⁵ Однако, Синявский и Даниель уже сидели, не давая тем самым забывать о совсем еще не упраздненном пределе резвости.

3. КАЧЕЛИ

Этот мир русской культуры позднего советского периода напоминал перекинутую через перекладину доску-качели. На одном конце шла жизнь, положительная, советская, или как сейчас говорят, совковая, -- без вкуса, цвета и запаха. На другом, для поддержания равновесия, сидел буквально и фигурально криминальный элемент в объятиях у правоохранительных органов. А между ними, посредине, перетекая то в одну то в другую сторону в зависимости от того, жизнь ли перевешивала или ЦК с ГБ, располагалась расплывчатая, разношерстная, растрепанная и разгоряченная масса -- культуры.

Когда пришла мне пора определиться, я запустил в нее руки и вытащил, почти наугад, богемную субкультуру бороды.

В этой двусмысленной качельной жизни, придаться к бороде было не так просто. Ведь и уважаемые люди тоже бороду носили. За примерами в карман никто не лез. Перед каждым, стоило только закрыть глаза (или, вернее, открыть), сразу же возникали бородки Ленина, Дзержинского, Энгельса -- такие умеренные и аккуратные на фоне заросшего диким волосом и все это вообще выдумавшего Маркса. А в науке? Академик Тимирязев с козлиной бородкой или еще какой-нибудь физик со своей ассирийской доской, ну и целый выводок бородачей-астрономов. Все они громоздились под самым потолком лаборатории типичной микрорайонной школы и оттуда задумчиво взирали на молодую поросль, которую их бородатые лики -- достигаемые лишь с помощью разжеванной промакашки и трубочки -- должны были вдохновлять на отличные успехи и примерное поведение.⁶

⁵Рассказывали о физике, получившем срок за Живаго, и подумать только, на итальянском языке!

⁶На фоне этом математик Софья Ковалевская, которой тоже было отведено место в этом Синедрионе русской науки, гляделся бесстыдно голый.

Да что наука! На ниве родной нашей словесности, спрашивается, кто особенно преуспел -- тоже почти все бородачи. Один Лев Толстой чего стоит -- этот Маркс советского понимания истории русской литературы.

Казалось бы, подражание великим мужам, даже такое чисто эстетическое и безобидное, как возвращение бороды, -- это знак уважения, и не должно быть ничего зазорного, а тем более, субкультурного в юношеском желании брать пример с великих. Но такого рода нейтральное толкование бороды не светило. Дураков-то не было. Только слепой мог не заметить, что борода пристала лишь лицам государственных угодников, к сонму которых с легкой руки Горького и Сталина были приписаны "классики русской литературы," и прежде всего Лев Николаевич Толстой.

4. ПОРТРЕТ

Развешенные по стенам общественных мест, лики этих мужей были не столько портретами, сколько окнами в тот высший государственно-важный мир, где обитала власть в ее идеальном виде. И смотрели на нас из этих картинно-оконных рам не просто бородатые и бритые герои, а идеалы этой самой советской власти. Они наблюдали за нами, простыми смертными, и напоминали о наших по отношению к государству грехах и обязанностях. (Одним словом, замешанная на "Портрете" Гоголя социология Эмиля Дюркгейма с его теорией деления предметов общественной символики на святые и неосвященные.) Не могли же, действительно, уникальные привилегии этого, освященного, идеального мира, в частности, борода, безнаказанно узурпироваться двадцатилетним молодцем да еще неславянской наружности.

Другое дело классики советской литературы. Под них подделываться основ не подрывало. Брились они, советские классики, гладко, благодаря чему народное сознание легко отличало пухлого и гладкощекого нашего Толстого от того другого -- волосатого, не сумевшего дожить до светлой Октябрьской революции старика (а ведь дожил бы, и тоже, наверное, сочинил бы свои "Двенадцать" в восторге от крушения несправедливого старого мира). Говоря строго научным языком, на символической карте, где проходила демаркационная линия между русской и советской литературой, фамилия Толстой была знаком инвариантным, а борода -- дифференциальным, несущим значение признаком. Нулевая (по Якобсону) борода

была у Алексея, что делало его более доступным, а вот приближающаяся к бесконечности борода, что исключало всякое панибратство, -- у Льва.⁷

Во всем этом можно уловить ритм истории, поступь времени, следы которого не стерлись еще в русском языке.

5. АНЕКДОТ С БОРОДОЙ

Самая радикальная революция в русской истории сопровождалась, если не сказать осуществлялась с помощью страшного для средневекового человека ритуала -- усекования бороды. Надругательство над мужским достоинством соединилось с надругательством над благочестием патриархального христианина, а сам акт не мог не восприниматься как символическое, ритуальное оскотление -- знак безграничности власти "отца отечества" Петра и одновременно с этим необратимости задуманных им преобразований.⁸ В результате, лишенный своего культурного смысла подбородок -- оголился. Ведь он - под-бородок -- подставка для бороды.

Так, из признака "суб-культурности" и невежества, каковым, судя по эпиграфу настоящего доклада, он слыл в обществе почтенных мужей, под-бородок превратился в свою противоположность -- знак государственной культуры и просвещения. Каковым он и пребывал в России до первой трети XIX века, после чего, просеменя по мостику как бы невзначай отпущенных пушкинских бакенбард, стал постепенно обрастать бородой, возвращаясь, так сказать, в свое первобытное состояние. И заметим: пышным цветом борода расцвела именно в эпоху Великих реформ, самой великой из которых было освобождение от крепостной зависимости бородатых землепашцев. А переход от бороды к бритью был осуществлен постепенно на рубеже веков и по-настоящему укрепился за новым поколением в годы мировой войны.

Переходя к советскому периоду, можно утверждать, что окончательно связь с эпохой бородатых оборвалась в 37-м, когда усатые и бритые добивали изрядно порядешую старую большевистскую гвардию, добавляя к ней, для густоты,

⁷Могут возразить, что и на Западе бороды вышли из моды перед первой мировой войной, что впоследствии бритые бороды было поголовным делом в Европе, особенно благодаря милитаризации населения во время войны, и что, следовательно, особого значения этому явлению приписывать не следует. Однако, именно в сталинской России эта мода, как и всякие другие моды, получила особый политический смысл.

⁸У Блока: "Там, на скале веселый царь взмахнул зловонное кадило..." "Веселый" здесь в средневековом смысле, т.е., дьявольский.

зажившихся старорежимных интеллигентов, не говоря уже о существовавших вне понятия моды крестьянах-мужиках с их бородой -- единственной их уцелевшей от Петра привелегией. И только какой-то там оторвавшийся от жизни астроном, химик или ботаник, в знак своей отрешенности от мелочей мирского существования и монашеской преданности нашей передовой науке мог позволить себе отпустить патриархальную лопату. Больше -- никто. Каждый сверчок знал свой шесток.⁹

Такова приблизительная историко-символическая карта бороды при совесткой власти и в царской России. В ней есть что-то от диалектики архаистов и новаторов у Тынянова и аналогичной ей диалектики поколений у Фрейда (Тотем и табу). Это не случайно. Смена стилей -- смена поколений. А символика волос вообще играет важную роль во всякого рода *rites de passage* и, конечно же, в сигнализации социального и сексуального статуса.¹⁰ Для России здесь нет исключения. Пример: слово "опростоволоситься".

Таким образом, в знаке моей бороды шестидесятых годов -- явлении бесспорно субкультурном -- сходились и пересекались смысловые линии русской культуры советского времени. Неурочная поросль шестидесятых годов нарушала правильный ход официальной истории. Ей, Истории, положено было двигаться вперед. Ей следовало идти от бородищи Маркса к усам Сталина (недавно в Аргументах промелькнула заметка "Как Сталин брил Ленина!"), а далее -- ко гладкой тыжке Хрущева, вторя тем самым судьбоносному брадоборству Петра Великого. А борода двадцатидвухлетнего молодца как бы перегораживала путь прогрессу, заставляла историю сбиваться с пути, петлять. Она не давала прошлому отдалиться от настоящего на степенную эпическую дистанцию, необходимую государству для доказательства невероятности исторических альтернатив. Борода вылезала оппозицией, пусть и не политической, а оппозицию, подходя к ней по-большевистски, полагается отбрить.

Наконец, борода подрывала строгую табель о рангах сталинской культуры, произростая на лице, которому было столь же далеко до академика как до ближайшей звезды. Одним словом, молодая моя борода торчала тихим надругательством над этой колоссальной системой, узурпировав в непотребных для системы целях один из ярких признаков высочайшего советского престижа.

⁹Подтверждающее правило исключение представляла собой борода Андрея Синявского -- в начале 1950-х гг., начинающего и подающего надежды сотрудника ИМЛИ. Характерна рассказанная им история о реакции на бороду известного филолога-стучака профессора Самарина. "А борода-то у вас народническая," доверительно шептал мне на ухо Самарин. "Что?" -- прикидывался я нерасслышавшим простачком -- "Да, да, народная у меня борода". "Нет" -- уже шипел мне в ухо Самарин -- "народническая она у вас, народническая." До террористов от этой народнической бороды рукой было подать.

¹⁰A. D. Leach, "Magical Hair (Curl Bequest Prize Essay, 1957)," *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, vol. 80, Part II (July- December 1958). See also, Charles Berg, *The Universal Significance of Hair* (London, 1951).

6. ПАРАДИГМАТИКА И СИНТАГМАТИКА

Повторяю: двусмысленность культурного пространства после- сталинской России неизбежно создавала благоприятную для всякого рода отклонений среду. И отклонения эти не преминули иметь место, воспроизводя себя с такой неуклонностью, что в конце концов буквально затопили ту доминанту во многом сталинской культуры, из обрезков которой и были скроены их пестрые одежды. Бородатых, одним словом, оказалось больше, чем бритых (не отсюда ли skinheads, т.е., бородачи наоборот?).

Но ведь и борода как некое означающее, не была выдумкой богемы шестидесятых годов. Сместилось лишь поле его смыслового действия -- знак был вписан в другой контекст, не произведя в словаре никакого изменения. Синтаксис был новый, лексикон -- старый. Как и в случае с бородой, субкультурники работают, как сказал бы Шкловский, преимущественно с чужим материалом. Смысл их культурной деятельности состоит в том, чтобы вырвать привычный знак, часто бытовой, из большой смысловой системы основной культуры и -- заставив его заиграть в системе малой, альтернативной, маргинальной -- отослать его в таком виде по обратному адресу. Так поступает у Булгакова Волланд, этот высший магистр суб-культуры, когда забирает к себе как бы на временную стажировку хорошо вписавшихся в советский быт людей, возвращая их в привычный для них мир, но уже полными сознания альтернативности "нормального" существования.¹¹

<11> Для людей без власти такая партизанская тактика -- единственный способ сказать свое, хотя бы и спущенным от государства словом.

Аналогичных примеров на современной улице уйма. Стоит прогуляться по любому бродвею, чтобы встретить молодого человека, красующегося не на то место нацепленными медалями и воинскими регалиями разного образца. Ведь эти знаки доблести, когда-то вызывавшие почтение, за послевоенные годы были настолько залапаны пропагандой, что превратились фактически в предметы быта, в стертые слова. Нацепив их куда попало, люди стиля говорят свое, но говорят это чужими, точнее, отчужденными от привычного контекста словами. И дыры у них в штанах не простые, а отчужденные. Невольно вспоминается Зощенко. У него в "Бане" клиент объясняет гардеробщику, что тот выдал ему чужое пальто, что у его пальто дырка, мол, была справа, а тут -- на другом месте. А гардеробщик ему: "Мы здесь за дырками смотреть не приставлены." Отчуждение дырки от бублика. Этот процесс

¹¹Michel de Certeau, *THE PRACTICE OF EVERYDAY LIFE*, 1984). См. также Pierre Bourdieu, *DISTINCTION: A SOCIAL CRITIQUE OF THE JUDGEMENT OF TASTE* (1984).

поэт Владимир Владимирович Маяковский понимал очень хорошо -- в молодости сам грешил субкультурой.

7. ВНУТРЕННИЕ ПРОТОВОРЕЧИЯ

Как и всякая человеческая культура, особенно нового времени, русская культура полна противоречий. Одни из них скрыты от глаза, иные едва заметны, еще иные выпячивают и отказываются прятаться. Культура многослойна, и ее жизнь во времени неравномерна: одни пласты перерождаются с молниеносной быстротой, у других на это уходят десятилетия. Примеры у нас перед глазами, ибо перестройка сорвала покров и с противоречий и с неоднородности советской и, в не меньшей степени, русской культуры. Казалось, что виновата в противоречиях советская власть. Но ее уже нет, а концы с концами все равно не сходятся, как они в большей или меньшей степени не сходятся нигде.

Субкультуры позднего советского периода черпали свою энергию из силового запаса советского государства. Туда, где назревал конфликт и куда государство бросалось, чтобы поскорей замазать очередную трещину, туда и устремлялась субкультура и там разрасталась там диким цветом.

Какая самая большая проблема советской власти последних десятилетий? Отвечаю: легитимность. Замазывать эту расширяющуюся дыру раствором, изготовленным по старому рецепту культа Ленина возымел, как известно обратное действие. Пооткрывали по всей стране один за другим музеи Ильича, а в это время, вторя душившему страну тихому хохоту от анекдотов о Владимире Ильиче и Надежде Константиновне, Тимур Кибиров писал свой цикл о Ленине, а Евгений Попов и Татьяна Толстая -- свои рассказы (и по сей день пишут: см., напр., Попова "Рассказы о коммунистах" в "Знамени" за прошлый год и Толстой "Сюжет," недавно опубликованный в парижском Синтаксисе). Разросся концептуализм -- передразнивая абсурдные потуги одряхлевшей власти втиснуть себя в большевистскую идеологию. Да и идеология эта тоже была своего рода концептуализм, разве что у этого последнего концептуализма не было недостачи ни в армии, ни флоте.

Сам факт взаимообусловленности советского официоза и современного авангарда констатировался уже не раз достаточно, при этом остроумно и авторитетно. Важно, однако, и то, как это передразнивание официоза вторит чуть ли ни главному сюжету в истории русской литературы последних двухсот лет -- сюжету сцепившихся в клубок культуры русской интеллигенции и государственной власти. Противоречие, как говорится, на лицо, но и друг без друга этим двум силам

обойтись не удавалось. Лейтмотивом истории этой пары была борьба за обладание символами авторитета и власти. Так министр Уваров говорил: а у нас (имея ввиду государство) есть "православие, самодержавие, народность." Так Герцен отвечал: а у нас (имея ввиду русскую интеллигенцию) есть "мартиролог русской литературы." У вас церковь, и у нас церковь. По отношению к Уварову Герцен это -- субкультура.

Следы этой борьбы за символы авторитета можно найти и в безобидных, казалось бы, строчках Пушкина:

Ты Царь: живи один. Дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Здесь характерно смещен акцент: свободная дорога, свободный ум плохо совмещаются с русским царем. А надень поэт эту царскую корону себе на голову и пойдя погулять свободной дорогой, то очень даже неплохо смотрится.

Литература русская от Пушкина до наших дней, да и в широком плане, культура русской интеллигенции почти всегда была при государстве -- против ли за ли, главное -- при. Государству она была нужна для оправдания, для создания доминантной культуры, наконец, для просвещения, без которого России в современном мире нельзя было обойтись. Интеллигенции же, по определению, это не могло не претить. Но не могло и не льстить, создавая в ее сознании уверенность, нередко иллюзорную, в ее центральной для России роли и, главное, в ее солидарности, единстве, и святой миссии.

Как Зевс, рождала русская интеллигенция из собственной головы Афины официальной культуры, а из бедра -- Диониса, бога субкультуры.

8. ДВЕ ШИНЕЛИ И ОДНА МАЙКА

В таком мире русской интеллигенции нельзя было избежать ни мании величия, ни переমেжающегося с ней глубочайшего падения духа, и наоборот. Это хорошо понимал Гоголь, создав модель для последующей русской литературы -- рассказ "Шинель".

Ведь Акакий Акакиевич -- это вам не "маленький человек", о котором так пеклась русская критика со времен Белинского. Невозможно было литератору того времени, с его двусмысленным общественным положением, не угадать в "чиновнике для письма" Башмачкине, аллегории русского писателя, т.е., самого себя. Только смысл этой аллегории был так горек, что и признаться себе в этой догадке тоже было нельзя. Вот и вздыхают о Башмачкине господа литераторы уже более ста пятидесяти лет так громко, что невольно задумаешься: а не о своем ли? Мандельштам в Шуме времени и особенно в "Четвертой прозе" думал, что о своем. Как, впрочем, и все те русские писатели, которым приписываются слова о том, что все, мол, они вышли из "Шинели" Гоголя. А рассказ вот о чем.

"Чиновник для письма" возмнил.

Захотел быть как все и даже надраить бляху своего скромного чина, чтоб светилась -- он шинель с меховым подбоем соорудит себе захотел. Захотел -- хотя бы, ну, только внешне что ли, скромно так, но все же -- приобщиться к власти. Какие за этим стояли дальние планы, мы можем лишь догадываться, но то, что планы были, это -- несомненно. Ведь и Поприщин в "Записках сумасшедшего", родной, так сказать, брат Башмачкина, тоже пописывал, а потом мнил себя испанским королем.

ТЫ -- ЦАРЬ. ЖИВИ ОДИН.

Шуба для Башмачкин, однако, перефразируя Мандельштама, оказалась барственной не по чину. Ее сорвали, устроив сперва Башмачкину как бы творческий вечер, и не дав как следует поносить. И вот этого уже "чиновник по письму", отведавший толику государственного престижа, простить не мог. Оскорбленный и униженный, он с тех пор срывает со всех государственных мужей их генеральские шинели-шубы. Они ведь тоже, как говорится, не в шинели родились. И сорвать с них на российском морозе, оказывается, не так уж и трудно. Так появился критический реализм. Литература повела себя не по чину. Чем не субкультура? Правда, это -- по ночам.

А днем сыны и дочери ея сооружают себе барственные шубы, радуются новой шинели, лелеют жизнеутверждающие сюжеты русской культуры, размышляют о дубине народной войны и тому подобных предметах. Пока их на улице не разденут. И раздевают довольно быстро. Что ж, раз уж вышли из "Шинели", то это само собой, приходится скидывать...

Обветшал этот миф русской литературы к началу XX века и особенно после 1905 года, а уж после 1917-го, в 1920-е годы и говорить нечего. Износилась шинель. Но скоро произошел великий перелом, опять ввели крепостное право, и на смену царский чиновничьей пришла сталинская долгополая, литая шинель. Помните у Мандельштама в покаянных воронежских "Стансах" (1935):

Я не хочу среди юношей тепличных
Разменивать последний грош души,

(Это о советской субкультуре, которой противопоставляется магистральная линия:)

Но как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу и люди хороши.
Люблю шинель красноармейской складки,
Длину до пят, рукав простой и гладкий,
И волжской туче родственный покров,
Чтоб на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой...

Снова "чиновник по письму" мог заказать себе новую шинель и не где бы то ни было, а в мастерской ФОСП или Союза писателей СССР, и непременно по государственной датации. И вот -- кто шил, кто кроил, кто терял, с кого-то сдирали, а кто сам с себя сдирал, как Мандельштам еще до Воронежа в "Четвертой прозе", поминая добрым словом "первого комсомольца Акакия Акакиевича." Т.е., молодого, подрывателя основ старой культуры, субкультурника, который не даст советской начальственной интеллигенции походить в тепленьком и зажиреть (это ведь писалось в 1930-м году).

А нынче и сталинская шинель обветшала, хотя из обрезков ее немало блестящих писателей сшило себе одежду по совсем неформенному фасону. В ней ходят дети Арбата и авангардисты. И несомненно еще сошьют, и будут еще долго ходить и подавать сигналы, но пользуясь старым словарем в переиначенном контексте. Фильм "Бакенбарды" об этом. Он тоже вариант "Шинели" Гоголя, только там дело не столько в верхней одежде, сколько в бороде. Нет другой такой вещи, где бы симбиоз "русской культуры" -- ее падкость на культы, ее слабость к Шинели Власти и к "субкультурам" с их пафосом отрицания и передразнивания -- предстал перед нами в полной своей наготе. Аналогичный принцип, но только с обратным по отношению к "Бакенбардам" знаком, просматривается в фильме Соловьева "Черная роза -- символ печали, красная роза -- символ любви": от субкультуры московской хмельной коммунальной "хаты" к залогу возрождения русской государственности, благородства и порядка (имею ввиду последние кадры, снятые на носу режущего морскую волну учебного парусного судна Военноморского флота).

Так, не пора ли, наконец, русской культуре скинуть шинель и совсем уже в нее не возвращаться. Вопрос это риторический, ибо

(1) не мне с нее спрашивать;

- (2) вот-вот насытится рынок и можно будет купить что-то новое, а не перелицовывать доставшееся от классиков другой культурной эпохи шинель, и
- (3) государству российскому сейчас не до культуры и особенно в том советском смысле, о котором шла речь, и, Бог даст, невнимание это всерьез и надолго;
- (4) шинели вышли из моды и из антимоды: их донашивает совершенно по-гоголевски вдруг никому уже ненужные армия и Карем Раш;
- (5) "шинельное" искусство Кибирова, Евг. Попова, Толстой, Пьецуха, Эрика Булатова и автора фильма "Бакенбарды" есть не что иное, как выход из шинели: после них долго уже перелицовывать будет нечего;
- (6) Солженицын настоял на своем, все напечатал в России, и, как он и полагал, советская власть не выдержала и ушла;
- (7) Абрам Терц, который еще не все напечатал в России, сказал спокойной ночи советской цивилизации;
- (8) и, наконец, то, что сейчас происходит в русской культуре последнего, золотого времени не ограничивается ни шинелью, ни бородой: залогом служит хотя бы проза Петрушевской, чья совершенно независимая от власти новизна ошарашивает (пишу под впечатлением повести "Время -- ночь") как когда-то ошарашивал у Платонова неведомо каким учителем поставленный голос.

Stanford, June 1992

Copyright © (1992) by Gregory Freidin